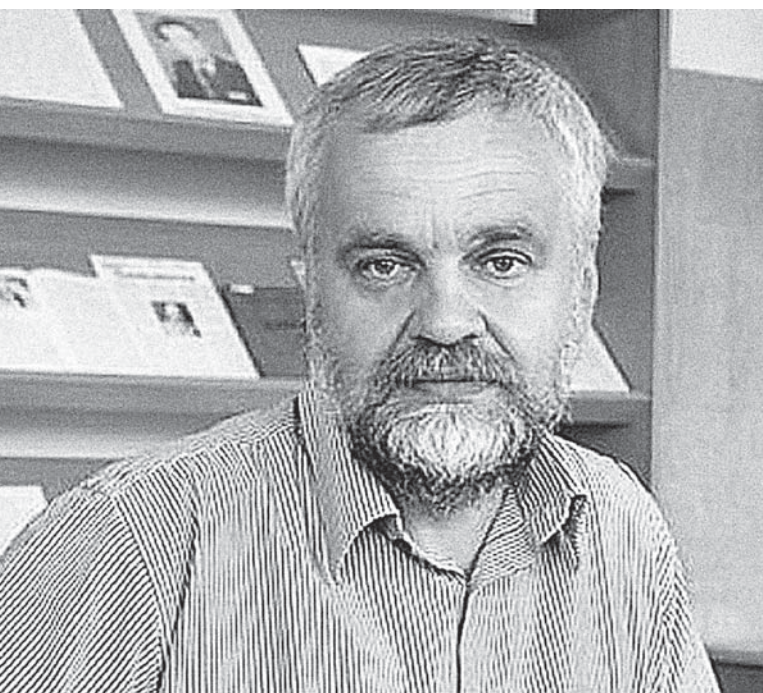


Алексей Варламов



— прозаик, филолог, автор нескольких биографий писателей, среди которых книга о М.М. Пришвине в серии «Жизнь замечательных людей»

О БУНИНЕ И ПРИШВИНЕ.

Отрывок
из книги «Пришвин»

...в 1943 году он записывает в дневнике: «Вчитывался в Бунина и вдруг понял его, как самого близкого мне из всех русских писателей. Для сравнения меня с Буниным надо взять его “Сон Обломова-внука” и мое “Гусек”. “Сон” тоньше, нежнее, но “Гусек” звучнее и сильнее. Бунин культурнее, но Пришвин самостоятельней и сильнее. Оба они русские, но Бунин из дворян, а Пришвин из купцов».

Появление Бунина на страницах пришвинского дневника одновременно и закономерно, и неизбежно, и поразительно. Поразительно тем, что в отличие от устремленного к современности Пришвина Бунин до конца дней любил Россию древнюю, и чем древнее, тем она ему дороже (не случайно в «Окаянных днях» писатель сочувственно цитирует своего любимого «второго Толстого»: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния»), и не переносил Россию новую, советскую, которую пытался не столько понять, сколько принять Пришвин и которой служил если не он сам, то его любимые герои.

А неизбежно имя Бунина тем, что здесь столкнулись не просто две крупные личности, два мировоззре-

ния или даже два класса, но два русских времени: прошедшее и будущее.

В отношениях Бунина и Пришвина, в их судьбах есть некое странное равновесие схожих и разительно отличных черт, внешних и внутренних совпадений, относящихся к детству и ранней молодости обоих писателей, и едва ли не первая и главная из них — бедность и очень неровные, изломанные отроческие годы, на которые легла тень их отцов и душевное богатство матерей.

Они прожили долгие, сложные и насыщенные жизни: были ровесниками, современниками и земляками, росли в больших семьях, были привязаны к своим братьям и сестрам, оба были близки к крестьянской среде, играли в деревенские игры, водились с дворовыми мужиками, не чванились, но остро ощущали свое чужеродное положение, оба были необыкновенно впечатлительны, рано столкнулись с таинством смерти и тайной женской любви, оба с детства были наслышаны о надвигающейся революционной смуте, захлестнувшей Россию и приведшей к убийству императора Александра Второго (Пришвин даже называл себя гражданином с восьми лет), и обеих семей эта смута очень рано коснулась, отразилась на судьбах писателей, а потом и вошла в их литературное творчество. Наконец, они даже учились в одной и той же елецкой гимназии, однако об их личных встречах и знакомстве в ту пору сведений не имеется, хотя о более младшем Пришвине Бунин мог быть наслышан, ибо знаменитое бегство

Курымушки в Азию, прославившее его на всю гимназию, состоялось до того, как Бунин по собственной воле покинул учебное заведение. Через два года был исключен с волчьим билетом из елецкой гимназии и Михаил Пришвин при непосредственном участии В.В. Розанова, так восхищавшегося за несколько лет до этого смелым поступком своего ученика.

С этого момента в жизненном пути молодых людей начинается расхождение. Для будущего академика Бунина исключением из гимназии системное образование фактически оканчивалось, и при всей надрывности юношеского периода его вхождение в литературу было пусть не ошеломительно-бурным, как у другого самоучки и бродяги — Максима Горького, но все же очень ранним и достаточно быстрым и успешным, если, конечно, не принимать всерьез ядовитую напутственную рецензию Буренина, написавшего в газете «Новое время»: «Еще одна чесночная головка появилась в русской литературе!» <...>

Литературный дебют Пришвина состоялся значительно позднее. Ему исполнился тридцать один год, он закончил университет за границей, была у него жена и пасынок, и в том возрасте, когда людям свойственно делать карьеру и стремиться к благополучию, уже на путь этого благополучия вставший и вполне способный добиться того положения, которым пугал брат Николай Алешу Арсеньева из единственного бунинского романа: «...и ты куда-нибудь поступишь,

когда подрастешь, будешь служить, женишься, заведешь детей, кое-что скопишь, купишь домик, — и я вдруг так живо почувствовал весь ужас и всю низость подобного будущего, что разрыдался...», — точно подслушав этот испуг родственного ему персонажа, Пришвин бросает агрономию и начинает заниматься литературной и журналистской деятельностью, пишет свой первый рассказ «Домик в тумане», сотрудничает с «Русскими ведомостями», «Речью», «Утром России», «Днем» и наконец по совету этнографа Н.Е. Ончукова отправляется в Олонецкую губернию.

Итогом этой поездки стала первая и едва ли не лучшая из пришвинских книг — «В краю непуганых птиц», фактически узаконившая его положение в литературе и ставшая настоящим дебютом.

Много позднее, в «Журавлиной родине», Пришвин так объяснит причины, приведшие его к занятию литературным трудом:

«Я выбрал себе писательство для того, чтобы не зависеть от начальников в казенной службе и как-нибудь прокормиться».

А в дневнике 1922 года встретится запись:

«Другие по своему воспитанию и образованию входят в литературную среду естественно, и им это, как дар свыше или как наследство, для меня же переход от политической невежественной интеллигенции в среду людей культурных сопровождался как бы крещением и таким чувством свободы, что я до сих пор считаю свое

дело святым делом, не имеющим ничего общего со всякими другими делами»<...>.

Бунин литературу не выбирал — но сам был ею избран. «Много званных, но мало избранных» — наверное, о нем можно было бы сказать и так.

Встречались ли Михаил Михайлович с Иваном Алексеевичем лично, однозначно утверждать очень сложно. Во всяком случае, в дневниковой записи от 1 февраля 1921 года оторванный от литературной среды Пришвин перечисляет имена всех известных людей, которых ему приходилось в жизни видеть (всего более 50-ти писателей, от Розанова и Мережковского до Л. Андреева и Куприна), но Бунина в этом списке нет.

Однако за шесть лет до этого, в 1915 году, приехав в Петербург, перед тем как устроиться военным корреспондентом «Русских ведомостей», Пришвин попадает в салон Сологуба и следующим образом характеризует его участников:

«Салон Сологуба: величайшая пошлость, само-говорящая, резонирующая, всегда логичная мертвая маска... пользование... поиски популярности... (Горький, Разумник и небубранная голая баба).

Бунин — вид, манеры провинциального чиновника, подражающего Петербуржцу-чиновнику (какой-то пошиб).

Карташов все утопает и утопает в своем праведном чувстве.

Философов занимается фуфайками. Блок — всегда благороден»<...>.

Едва ли Бунин, человек с невероятно обостренным чувством собственного достоинства, не взбесился бы, столкнувшись с такой характеристикой. Пришвин, сознательно, нет ли, бьет по самому больному: бунинской дворянской породе, и как этому определению противоречит родовой девиз из «Жизни Арсеньева»: «...из поколения в поколение наказывали мои предки друг другу помнить и блюсти свою кровь: будь достоин во всем своего благородства».

Еще острее неприязнь и плохо скрываемое чувство соперничества со стороны Пришвина проявляется в более поздней и столь любимой всеми пришивиноведами записи от 20 апреля 1919 года:

«Второй день Пасхи. Читаю Бунина — малокровный дворянский сын, а про себя думаю: я потомок радостного лавочника (испорченный пан)»<...>.

Пожалуй, даже если бы Пришвин очень постарался подобрать самое неудачное определение не только к бунинской прозе, но и к самой его натуре, вряд ли бы ему удалось найти более неподходящее. Это Бунин-то малокровный? Это его-то проза — анемична? Тут явно какая-то путаница или подспудный смысл. Вернее всего, в очень искренний и оттого вызывающий доверие пришивинский дневник врывается личная досада, обида, быть может вызванная непризнанием со стороны земляка, или на свою недостаточно оцененную литературную стезю, или какой-нибудь холодный ответ.

Однако в письме Яценко (запись от 25 сентября 1922 года):

«Плодовитый был все-таки наш Елецкий чернозем: я был в первом классе, а из четвертого тогда выгоняли Бунина...»<...>

И с учениками в дорогобужской школе Пришвин читает рассказ Бунина «Илья-пророк». И уже в совсем поздние времена, когда положение Пришвина в литературе непоколебимо, он приводит сочувственно в дневнике такие слова Маршака:

«На днях С.Я. Маршак мне сказал, что от нашего с ним времени блестящего развития поэзии сейчас остаются всего два поэта: Блок и Бунин, остальные твердыни, вроде Брюсова, все пали...»<...>

А через год уже и от себя лично добавит:

«Из всей массы писателей моего времени остались теперь: Чехов (которого я не знал), Горький, Блок и Бунин»<...>.

Наконец, в изданной после смерти Пришвина и основанной на дневниках его последних лет книге «Глаза земли» встречается еще одно прямое указание на личное знакомство писателей:

«Как Бунин любил крик перепела! Он восхищался всегда моим рассказом о перепелах»<...>.

По отношению к своим современникам Бунин был необыкновенно скуп на похвалы, и от него или нет, но эту черту характера Пришвин перенял и впоследствии, как и Бунин, держался в писательском мире особняком.



М.М. Пришвин

И хотя перепела для обоих были вещью сокровенной, личные отношения между двумя писателями-земляками не сложились; тем больший интерес представляет сравнение их литературного наследия.

Несмотря на наличие некоторых общих тем (таких, как, например, судьбы русских переселенцев — в рассказе «На край света» Бунина и очерке «Адам и Ева» Пришвина или описание умирающих дворянских миров в «Крутоярском звере» и «Суходоле»), несмотря на доверительное, очень пристальное внимание и любовь к Божьему миру и всем его тварям, не только статус двух писателей (или, как бы сказали сегодня, рейтинг), но и партий-

ная принадлежность в литературном мире долгое время были совершенно различны: Пришвин в большей степени ориентируется на декадентов, которых Бунин не переносит (замечательно, что Пришвин одну из глав своей второй книги «За волшебным коlobком», и не просто одну, а главу, посвященную Соловецкому монастырю, предваряет эпиграфом из Бальмонта: «Будем как солнце! Забудем о том, кто нас ведет по пути золотому», а Бунин, вспоминая ту эпоху, пишет: «Часто думалось мне за эти годы... будь жив Чехов, может быть, не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения. Как бы страдал бы он, если бы дожил до... гнусавых кликов о солн-

це, столь великолепных в атмосфере военно-полевых судов...»<...>).

Но некоторое время спустя Пришвин делает шаг навстречу Бунину:

«Однажды повязка спала с моих глаз (не скажу, почему), и я очутился на земле. Увидав цветы вокруг себя, пахучую землю, людей здравого смысла и, наконец, и самые недоступные мне звезды, я очень обрадовался. Мне стало ясно, что интеллигенция ничего не видит, оттого что много думает чужими мыслями, она, как вековуха, замыслилась и не может решиться выйти замуж»<...>.

Это отделение себя от интеллигенции принципиально важно и для одного, и для другого, оба оставили немало горьких слов в ее адрес, однако окончательно сблизила Бунина и Пришвина революция, и между писателями начинается, вернее, продолжается, но теперь гораздо более выраженный, близкий и осязаемый диалог. В отличие от осознанной полемики с тем же Розановым, Мережковским, Ивановым-Разумником, Ремизовым, Горьким, Блоком и другими хорошо знакомыми лично Пришвину литераторами, этот диалог носил характер бессознательный, но тем более он ценен, что лишен полемической предвзятости и субъективности.

Революцию оба встретили в том возрасте (Бунину было сорок семь лет, а Пришвину сорок четыре), когда житейский и духовный опыт человека, острота зрения, интерес к реальной жизни и определенная отстранен-

ность от повседневной рутины находятся в гармоническом сочетании, делающим человека способным максимально глубоко увидеть и оценить сущность происходящих событий. Бунинские и пришвинские дневники, посвященные революции и гражданской войне, пожалуй, самые глубокие документы первой русской смуты XX века.

Они черпали из одного источника, и хотя для Бунина в большей степени причиной и сутью революционных событий оказалось народное окаянство, а для Пришвина революция — это скорее проявление русского сектантства, хлыстовства («...Почему вы так нападали на Распутина? — спорил он с Горьким. — Чем этот осколок хлыстовства хуже осколка марксизма? А по существу, по идее чем хлыстовство хуже марксизма? Голубиная чистота духа лежит в основе хлыстовства, так же как правда материи заложена в основу марксизма. И путь ваш одинаков: искушаемые врагами рода человеческого хлыстовские пророки и марксистские ораторы бросаются с высоты на землю, захватывают духовную и материальную власть над человеком и погибают, развращенные этой властью, оставляя после себя соблазн и разврат»<...>), и, хорошо знакомый с этими течениями русской религиозной мысли и поведения, он знал, что говорил, — так вот, если положить их дневники рядом, то, отвлекаясь от определенной стилистики, иногда затрудняешься сказать, кто из них что писал, — так много

здесь горечи, отчаяния<...> и столько тяжелых и порою даже оскорбительных слов о русском народе, что сейчас мы могли бы легко обвинить обоих авторов в русофобии, когда бы все не очищалось глубочайшей любовью к России, которой оба были преданы до конца дней.

Глухой зимой 1920 года, выгнанный из своего елецкого дома, переживший нашествие Мамонтова и чуть было белыми не расстрелянный, перебравшийся на родину своей жены в Смоленскую губернию, в бывшей усадьбе купцов Барышниковых в селе Алексино Дорогобужского уезда, Пришвин бедствует, учителствует и занимается организацией краеведческого музея, и мысли его о происходящем в России по-прежнему путаны и печальны, писатель заносит в дневник такое признание:

«Часто лежу ночью и не чувствую своего тела, как будто оно одеревенело и стало душе нечувствительным, а самая душа собралась в рюмочку около сердца, и только по легкой боли там чувствуешь, что она живет и движется; болью узнается движение души. Подземно затаенная жизнь, как у деревьев, занесенных снегом, и кажется, что вот настанет весна, и если я оживу так, как все растения, стану где-нибудь у опушки и присоединюсь к лесу просто, как дерево»<...>.

Образ занесенных снегом растений, корней, ведущих таинственную жизнь и готовящихся к весне, — один из ключевых в его философии, — появляется в эти годы очень часто. Од-

нако пророчество сбылось только наполовину — вкуса к человеческой, а не растительной жизни Пришвин не утратил до конца дней, хотя революционные годы дались ему чудовищно тяжело и едва не поставили на грань самоубийства.

Седьмого ноября 1920 года, в третью годовщину октябрьского переворота, он заносит в дневник почти сказовым фольклорным речитативом, невольно используя любимое бунинское словечко:

«На водах тихих, на ручьях звонких, на лугах росистых, на снегах пушистых и на лучах светлых солнца дневного и звезд ночных — везде тогда я нахожу след души моей.

...Потерялся в полях русского окаянства...»

И в те же дни:

«На небе мутно, на земле черно, а сердце ласточкой летит над тихой водой, вот, вот, кажется, будет минута понимания, но нет! холодная намерзшая вода, и все ласточки улетели.

Остается ценного только, что я русский (несмотря на то, что нет России, — я — существую)» <...>.

Положение человека, вырванного из своей среды и лишеного дома, заставляет обоих искать убежища. Для Бунина подобным убежищем были воспоминания о России прежней («Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, — всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...»<...>), для Пришвина, хотя и у

него встречаются подобные ностальгические строчки, — как ни странно, — спасением стала охота. Бунин эмигрировал в прошлое, Пришвин прокладывал через русскую природу пути в будущее.

Вообще поразительно, что, увидев и испытав в те годы не меньше, а гораздо больше, чем увидел и испытал Бунин (и возможно, именно по этой причине), Пришвин все же склоняется в сторону нового порядка. Это едва заметное колебание, но его достаточно. В то время как для Бунина жизнь в советской России была невыносима, невозможна и весной восемнадцатого года с помощью Фриче, которого писатель некогда спас от высылки из Москвы за революционную деятельность, Бунин покидает новую старую столицу и перебирается в Одессу, свое последнее пристанище на русской земле, Пришвин в эти самые дни отправляется из Петербурга в Елец по «бесконечному мучительному пути из адской кухни в самый ад, где мучатся люди»<...>.

«Мужики отняли у меня все, и землю полевою, и пастбище, и даже сад, я сижу в своем доме, как в тюрьме, и вечером непременно ставлю на окна доски из опасения выстрела какого-нибудь бродяги»<...>, — писал он вскоре по приезде в Хрущево, однако, несмотря ни на что, вопрос об эмиграции в пришвинских дневниках не поднимается, если не считать письма к Р.В. Иванову-Разумнику от 7 февраля 1922 года, а полгода спустя, 24 августа 1922 года, то есть в тот день, когда из страны было выслано

200 литераторов, профессоров, инженеров и Пришвин назовет это время «садовым совкуплением власти с литературой»<...>, он пошлет на рецензию Троцкому свою повесть «Раб обезьяний» и напишет выдающемуся революционеру о смысле своего «упорного безвыездного тяжелого бытия среди русского народа»<...>.

Психологически это объяснимо: Бунину в эмиграции удалось не просто много писать, но, извлекая из памяти живые образы уходящей Руси, создать один за другим несколько шедевров, однако достаточно вспомнить судьбу Куприна, который на чужбине задыхался от отсутствия темы и все лучшее, им написанное, осталось по ту сторону границы, чтобы понять, чего боялся, осознавая того или нет, Михаил Пришвин. Для него, по-видимому, творческая жизнь возможна была лишь в России<...>, и он не только в ней остается, но пытается найти свое место и достойно обустроить судьбу в новой стране, и, как знать, был ли это лишь его личный выбор, или стояло за ним нечто большее, и не этими ли двумя побегами от общего елецкого корня — бунинским в Грасе и пришвинским в Хрущеве, Дорогобуже, Талдоме, Переяславле-Залесском, а затем в Загорске, Тяжине и Дунине — и стала произрастать русская советская литература и литература эмигрантская.

В отличие от Бунина Пришвин искал в тех условиях утвердительно ответа на вопрос о смысле истории, и если автор «Окаянных дней» восклицал: «Когда совсем падешь

духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, всечеловеческого проклятия теперешним дням»<...>, — Пришвин, точно знакомый с его мыслями, в самые черные дни русской смуты возражал:

«Личная задача: освободиться от злости на сегодняшний день и сохранить силу внутреннего сопротивления и воздействия»<...>.

Более того:

«Нужно знать время: есть время, когда зло является единственной творческой силой, все разрушая, все поглощая, оно творит невидимый Град, из которого рано или поздно грянет:

— Да воскреснет Бог!»<...>

«Да, нужно выносить жизнь эту и ждать, что вырастет из посеянного, Боже, сохрани забегать вперед! если это необходимо, то оно, в конце концов, будет просто, легко и радостно»<...>.

В сущности, в этой попытке жить радостно и легко в Совдепии заключалась некая сверхзадача писателя, преданного символистской идее жизнотворчества. Пришвин в этом смысле абсолютное дитя Серебряного века и, может быть, самый верный его последователь и движитель, и в этом уникальном пришевском желании найти положительное решение всех проклятых вопросов (которое сочувствовавший ему Горький назвал геоптимизмом) сказался дух русского модернизма, из которого писатель вышел и который именно он уна-

ледовал, сохранил и приумножил на русской советской почве, но здесь-то и заключена некая интрига, драматургия пришевской судьбы, к которой можно обратить вопрос: чем она окончилась — победой Пришевина или его поражением?

Ответить на этот вопрос однозначно чрезвычайно сложно. Жизнь Бунина очень прозрачна и резко очерчена, Пришвин же прожил в тени и укывище жизнь весьма насыщенную и, если так можно выразиться, подробную. Его сосуществование с советской властью носило характер мучительный: с одной стороны, он не мог, не желал поступаться хотя бы толикой своей свободы и независимости, с другой — слишком, по собственному признанию, ненавидел бедность и страдание («...Не выношу вида обнаженного страдания... Наоборот: люблю гордостью и красотой победы закрытое страдание, радость над горем и сияние венца победного духа...»<...>); «Молюсь об одном, прошу об одном, чтобы избавиться от намеренного страдания, внушаемого людям людьми, в живых мертвыми. Молюсь, чтобы миновало меня случайное страдание... И прошу, чтобы прошла мимо меня чаша необходимого страдания»<...> или «Бедность я не люблю за то, что от нее пропадает жизнь в мускулах и цвет на коже, показывается скелет человека и его подзаборное “я”»<...>). Он слишком много горя хлебнул в окаянные дни, чтобы в нищете прожить остаток своих дней, и не случайно много лет спустя один из героев «Корабельной

чащи» предложит переименовать колхоз «Бедняк» в колхоз «Богач», отправившись в поисках правды к всесоюзному старосте Михайле Ивановичу Калинину, к которому хаживал и сам Михаил Михайлович.

Велик соблазн обвинить писателя в подкоммунивании (хотя именно к коммуне он относился резко отрицательно и грубовато писал о ней: «Раньше есть собирались вместе, а срать врознь, теперь едят врознь, а срут вместе: коммуна!»<...>), и частично соблазн этот даже может быть понят: достаточно сравнить, что писал он в дневниках о большевиках, о Ленине и т.д. в 1917—1922 годах («Для нас загадочны Октябрьские дни, и мы им не судьи пока, но завеса в настоящем упала: коммунизм — это названье государственного быта воров и разбойников»<...> или «...Коммунизм — это система полнейшего слияния человека с обезьяной, причем в угоду обезьяне объявляется, что человек происходит от нее, и вообще господствующей государственной философией объявляется материализм»<...>), с записями более поздних лет: «Я теперь понимаю: они были правы, те, кто хотел у нас переменить все, не считаясь с жертвами. Они знали положение и не хватались за призрак Эллады. И они победили, как ветер, устремленный в опустевшее место»<...>.

Быть может, здесь таится разгадка сюжетов и обращение к определенным темам его крупных прозаических форм 40—50-х годов, но, как говорил известный современный ли-

тературный критик в связи, правда, с Максимом Горьким, судить Горького дело нехитрое, гораздо труднее его понять. То же самое в не меньшей степени имеет отношение и к Пришвину.

Любые попытки толковать Пришвина прямо заводят в тупик, — психология охотника, выслеживающего зверя, расставляющего ловушки, маскирующегося и обманывающего, во всей полноте раскрылась в его взаимоотношениях с властью, он окружал свои произведения такими лесами, что часто только при очень внимательном чтении можно разглядеть и понять, что он хотел сказать.

Особенность Пришвина заключалась в том, что он был по жизни наблюдателем. «Вы говорите, я поправел, там говорят, я полевел, а я, как верстовой столб, давно стою на месте и не дивлюсь на проезжающих пьяных или безумных, которым кажется, будто сама земля под ними бежит»<...>.

Невозможно представить Бунина возделывающим землю или везущим из Москвы в Талдом жене-крестьянке головку сыру, печатающимся в советских журналах, пишущим между строк, заметающим следы, сочиняющим письма советским вождям и ходящим к ним на свидания, и есть, безусловно, закономерность и логика в том, что «малокровный дворянский сын» писал в Париже «Миссию русской эмиграции», а «потомок радостного лавочника» не без гордости отмечал в дневнике 27 сентября 1924 года:

«Мой посев приносит плоды: всюду зовут писать. Между тем я ничего не уступил из себя: жизнь изменяется»<...>.

Однако если в плане биографическом их пути оказались диаметрально противоположными, то в творческом они остаются схожими, и диалог двух писателей продолжается на новом художественном витке. В середине 20-х годов оба обращаются к новому для себя жанру романа. Бунин пишет «Жизнь Арсеньева», а Пришвин — «Кашееву цепь».

Между этими романами столько же поразительно общего, сколь и разного, как и между судьбами их создателей. Бунин пишет от первого лица и едва ли не закликает читателей и критиков не считать свою лучшую книгу автобиографическим романом, Пришвин — от третьего и так же настойчиво уверяет, что Алпатов — это он.

И Бунин, и Пришвин останавливаются на одних и тех же ключевых эпизодах духовной биографии своих героев, оба проходят через соблазны и искушения российской жизни конца прошлого века, большое количество страниц посвящено темам любви, религии, революционной смуты, и оба протагониста стремятся к творчеству, видят в нем единственный выход и спасение для мыслящей личности; в сущности, и «Жизнь Арсеньева», и «Кашеева цепь» — это романы о рождении и становлении художника, о психологии творчества, но если Арсеньев с самого начала заявлен как поэт, то для Алпатова Пришвин стремился найти другое призвание и сам

же признавал, что потерпел на этом пути творческое поражение.

Вслед за этим, разделенные не только расстоянием, но границей двух миров и писательских статусов (в 1933-м Бунин едет на север в Стокгольм за Нобелевской премией, а Пришвин посещает строительство Беломорско-Балтийского канала и Соловки), они вновь обращаются к теме любви, и Бунин пишет в Париже «Темные аллеи», а Пришвин — в России «Жень-шень» и «Фацелию». Эти книги двух писателей становятся вершинами русской любовной прозы XX века. И то и другое было чем-то вроде «Декамерона», пира во время исторической чумы, и говорили они об одном и том же — о расколотости, разделенности земного мира, о неслиянности души и плоти и стремлении к их воссоединению.

Вопрос этот мучал Пришвина всю его долгую жизнь. 3 октября 1951 года семидесятивосьмилетний старик записал в дневнике:

«Любовный голод или ядовитая пицца любви? Мне досталось пережить голод»<...>.

Бунину, без всякого сомнения, — яд.

В сущности, молодой Пришвин с его душевными и плотскими муками, последовавшими после разрыва с В.П. Измалковой (и этот сюжет, перекочевавший в «Кашееву цепь», отчасти напоминает «Жизнь Арсеньева», где Лика отказывается выходить за героя, потому что у него нет «положения», и этого же «положения» требует от Алпатова Инна Ростовцева), так вот Пришвин с его любовью к простой кре-



И.А. Бунин

стьянке вполне мог сделаться героем «Темных аллей», и некий противоположный бунинским разрывам и расставаниям исход его любви, женитьба на дикарке и будущие очень сложные отношения с первой женой, так или иначе все равно приходящие к разрыву через много лет, словно дают ответ, а что бы было, если б Николай Алексеевич из давшего название всей бунинской книге рассказа женился на Надежде.

Тут слишком многое сплелось: и общественное, и личное, и сокровенно творческое, это своеобразная, если угодно, трель двух соловьев, их поединок (а образ поющего соловья в разоренной усадьбе, кстати, чрезвычайно для Бунина и особенно для Пришвина важен). Но самое главное, что после чудовищной катастрофы семнадцатого года, устояв на ногах, оба писателя стремились к одному и тому же — к оправданию и утверждению ненапрасности бытия, выражению благодарности жизни; и то, что подобные попытки предпринимались по обе стороны довоенного и послевоенного железного занавеса, быть может, ярче всего свидетельствует о единстве русской литературы XX века и общем ее направлении.

В молодости и зрелости Бунин был, пожалуй, счастливее Пришвина, была более интенсивной его личная жизнь<...>, гораздо успешнее шли литературные дела, и он достиг куда более высокого признания, но в старости они меняются местами. Накануне войны нобелевский лауреат, давно раздаривший и растерявший свое богатство («Был я “богат” — теперь волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был “знаменит на весь мир” — теперь никому в мире не нужен — не до меня миру!»<...>), пишет в Москву Телешову: «Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой»<...>.

Пришвинская же жизнь в эти годы получает новый импульс, он — заслуженный советский писатель, его именем называют пик на Кавказе, горное озеро и мыс на Курильских островах, жизнь его изобилует различными перипетиями, он встречает большую любовь, оставляет первую жену и женится вторично; верный себе, много странствует, охотится, пишет новые книги, покупает дом в Дунине, ведет тайный дневник, получает правительственные награды и сытость, богатство и почет, которыми в послевоенные годы напрас-



но пытались переманить из эмиграции в СССР больного, бедствующего и к тому же изрядно подпортившего отношения с эмигрантскими кругами Бунина.

На излете жизни Бунин пишет «Воспоминания» и книгу о Чехове, следит за тем, что происходит в советской литературе, и высоко отзывается о Твардовском и Паустовском. Пришвин (который, кстати, также отмечает обоих этих писателей и мало кого другого) работает над «Осударевой дорогой» и «Корабельной чашей», произведениями, при его жизни не публиковавшимися (что указывает на относительность его благополучного положения в СССР) и до сих пор еще по-настоящему не прочитанными и не изученными, но уже совершенно и по стилю, и по поэтике от Бунина далекими.

Однако даже тогда за Буниным следит и, вряд ли имея возможность читать эмигрантские произведения соседа своего далекого детства, перечитывает то, что было написано им до революции, а 11 ноября 1952 года, то есть ровно за год (без трех дней) до смерти Бунина, заносит в дневник весьма примечательные строки:

«Есть люди такие, как Ремизов или Бунин, о них не знаешь, живы ли, но их самих так знаешь, как они установились в себе, что не особенно и важно узнать, живут они здесь с нами или там, за пределами нашей жизни, за границей ее» <...>.

Смертельно больной, случайно узнает Пришвин и о смерти Бунина. Об этом эпизоде рассказывается в мемуарах писателя Ф.Е. Каманина, с которым Пришвин был знаком, начиная с конца 20-х годов.

«Я — не знаю уж, как это вышло, — спросил у Валерии Дмитриевны, читала ли она сообщение, что в Париже умер Иван Бунин. Спросил очень тихо, и так же тихо она ответила, что нет, не читала, ей не до газет теперь. И тут Михаил Михайлович, хоть и не смотрел на нас и слух у него давно уже сдал, сделал шаг ко мне.

— Что, что ты сказал?

Я молчал, потерявшись, но он запрокинул голову и с невыразимой тоской несколько раз повторил:

— Бунин умер... Бунин умер!.. А-а!.. В Париже, в чужой земле. Бунин умер, а-а!» <...>

Пришвин пережил его на два месяца.

